

Леонид ГЕРВИЦ Эскизы воспоминаний

В раннем детстве я зачитывался (а верней, засматривался) Гоголем и Бальзаком. Оба издания были напечатаны на трофейных немецких станках и на тончайшей, цвета слоновой кости, мелованной бумаге. Фолианты в чудесных кожаных переплетках было приятно держать в руках, но главное — в них были чудесные иллюстрации, работы Милашевского, Агина, Боклевского, Кукрыникова, Кибрика. С последним я потом (через двадцать лет) познакомился лично.

Оттуда, из раннего детства, думаю, идет моя страсть к рисованию. Читать в то время я еще не умел. Иллюстрации к Бальзаку погружали мое юное воображение в далекую Францию, которая казалась такой же манящей, как запах этих чудных книг. Бальзак был очень большим и увесистым, и мне было тяжело держать его, сидя на ночной вазе. С Гоголем было полегче. Прежде чем его рассматривать, я снимал суперобложку цвета теплой охры, с овальным портретом классика, как я узнал позже, работы Федора Моллера. Под внутренней обложкой цвета шоколада тоже скрывалась масса отличных иллюстраций. Гоголевский мир был иным, чем французский. Здесь чувствовался некий условный язык образов, отклонение от реальности, как я потом узнал, продиктованное неподражаемым гоголевским юмором.

Мой отец был книголюбом особого толка. Он был активным членом "комиссии содействия" (как потом он называл ее — "бездействия") при магазине подписных изданий, находившемся на Дерибасовской, между улицами Ленина и Карла Маркса. Иногда он брал меня туда с собой, и я видел, как члены этой самой комиссии живо обсуждали непонятные мне проблемы. Папа был очень живой и активный, переходил от одной группы умных солидных мужчин к другой. Мне тогда это не нравилось, казалось, что он слишком светится и не так гордо и независимо себя ведет, как мне бы того хотелось. Уже в те ранние годы у меня проявлялся (видимо, от мамы и ее семейной ветви) гордый и независимый нрав, который мне впоследствии, в годы эмиграции, сильно мешал. Зато папина живая приспособляемость и коммуникабельность потом в моей жизни не раз служили мне на пользу. Его умение пробивать стены, которых так много всегда было в жизни, особенно советской.

Самое интересное было то, что отец никогда этих книг (которых становилось все больше и больше, и скоро старый книжный шкаф их уже не вмещал, и понадобился уже новый), как мне казалось, не читал. По занятости или по причине своего природного ума, но он не черпал знаний из книг — за исключением специальной технической литературы, как, например, большой зеленой книги "Детали машин" или "Справочник технолога".

Гуманитарной частью нашей жизни завела мама, которая была законодателем культурной атмосферы в доме и иногда, при случае напоминала отцу его "местечко". Так было, когда после сытного обеда он проштрафился отрыжкой, которая была вызвана не столько его "местечком" происхождения, сколько проблемами пищеварительного тракта, сопутствовавшими ему всю его долгую жизнь и, в конце концов, сведшими его в могилу. Уже много лет спустя, приехав в страну "высокого порядка" — США, я с ужасом наблюдал тут и там, как люди рыгают и при этом не только не скрывают, а как бы даже делают это напоказ, получая удовольствие. Ничто человеческое не отвратительно, понял я принципы этой страны. Зашоренность матери в плане приличий, которая всегда довлела над отцом, спала с его плеч, когда мы все оказались в стране его мечты — Америке. Он перестал пресмыкаться перед материнским культурным диктатом. Она даже перестала делать ему замечания (все-таки чужая территория), хотя изредка безнадежно протестовала: "...что-то ты сильно осмелел". А он торжествующе двусмысленно улыбался, и его ноздри победно вздрагивали при этом, как у дышащего, наконец, свежим воздухом коня. А он и был конем, тнувшим всю жизнь повозку нашей семьи, пусть иногда излишне рьяно и суетливо в деталях, но прочно и стабильно, в основе сущности дел и событий. И тем, что я стал художником, я обязан во многом ему, его поддержке и его неукоснительной вере в меня и в мои способности.

В моей жизни, как в истории Южной Америки, есть два периода: "до-Мая" и "Мая-период". Описываемые здесь и далее события относятся в основном к "домашнему периоду". Он был непродолжителен, но оставил самые райские воспоминания о жизни, предшествовавшей появлению на свет моей сестры Майи. Восемь с половиной лет безраздельного царствования в пределах одной семьи — это, может, и краткий, но очень запоминающийся отрезок. Будучи в центре системы, вокруг которого она вращалась, не имея никаких обязанностей, а лишь одни права, я на всю жизнь запасаю очень памятным для будущего художника чувством исключительной значимости. Это чувство, как поплавок или спасательный круг, тоже часто выручало меня в бурях творческой жизни, не давало отчаиваться, опустить голову и отдалиться на произвол не всегда доброй судьбы.

В детстве я часто болел и, может быть, поэтому пользовался всеобщим вниманием и жалостью. Вся семья старалась мне угодить, опекала и оберегала меня от случайного ветерка и случайной инфекции. Но я все равно неведомым образом простужался или маялся то краснухой, то свинкой, то коклюшем. Приходилось подолгу лежать в постели, скучая и мучаясь от бездействия, а иногда с высокой температурой и в настоящем бреду. В таком положении мое воображение очень скоро обращалось к искусству. Поначалу это было копирование книжных иллюстраций или открыток с картин русских художников, которые попадались под руку. Помню "Неравный брак" Пукирева, "С квартиры на квартиру" Васнецова, "Порожняки" Прянишниковой — в основном это были картины передвижников. В те далекие теперь уже пятидесятые годы в Советском Союзе еще не знали ни Пикассо, ни современного западного искусства. Если память мне не изменяет, первые упоминания о "потусторонней" живописи попались мне на глаза году в 1962 — 65-м при чтении воспоминаний Ильи Эренбурга "Люди, годы, жизнь" ("Французские тетради"). Вскоре в Москве (до нас в Одессу дошли слухи) были показаны офорты Пикассо, и стала везде порхать его "голубка мира". Официальная же художественная продукция была сугубо реалистической (включая известный русский критический реализм). Я интуитивно тянулся к миру художников и к книгам о них. Но, как сейчас вспоминаю, меня интересовало не столько "что" изображено на картине, сколько "как" это сделано.

Над моей кроватью висело несколько масляных картин, которые всегда, днем и ночью, были у меня перед глазами, и я подолгу их разглядывал.

Дед мой по матери был офицером и в военное время работал в лагере для военнопленных немцев. Он был очень симпатичным и порядочным человеком. Доброта как будто струилась из его черных, как маслины, глаз. Видимо, так же думал один из пленных немцев, художник, сделавший ему в подарок несколько хороших копий, в том числе с "Неизвестной" (у нас дома ее называли "Незнакомка") Ивана Крамского. Она, эта Незнакомка, и служила постоянным объектом моего детского разглядывания. (Шестьдесят лет спустя я был свидетелем того, как посетители выставки русской живописи в музее Гугенхайма в Нью-Йорке толпами стояли возле этой удивительной картины.) Там же на стене висел овалный пляжно-курортный пейзаж, который мои родители привезли из поездки в Ялту. Какой-то амфибийный беленький парашют с нависающим над ним большим зеленым пальмовым листом и голубящая полоска моря вдали. И, глядя на эту незатейливую курортную поделку, я озадачивался вопросом, как ловко мазнул художник смесью зеленой и желтой красок, как жирно и гладко "вылепил" мазок, дающий полное представление о пальмовом листе. Я перевел взгляд выше, и он попал уже на большую, в золотой раме, настоящую, на холсте, картину "Лунная ночь на море". Гораздо позже я узнал, что на ней изображена гора Медведь, Аю-Даг, в Гурзуфе, которую мне пришлось видеть наяву и писать сорок лет спустя, живя в Доме творчества Союза художников СССР, на бывшей даче Коровина. Описываемая картина тоже была копией, но, как я сейчас понимаю, очень недурной. Осо-

бенно меня поражала лунная рябь на море, сделанная маленькими мазочками белой краской. Поражало, как краска превращается в правду жизни, это чувство, которое гораздо позже мой незабвенный учитель в Академии художеств Виктор Михайлович Орешников назвал "чудом живописи", когда обыкновенная глина, замешанная краской, под умелой рукой художника превращается в жизнь на холсте.

Вышеупомянутый дед мой, по рассказам матери, однажды увидев, как младенец тянется к картинам на стене, сказал: "Это будет эстет". Не знаю, стал ли я эстетом, но искусство с тех первых дней моей жизни вошло в нее навсегда, и можно только благодарить судьбу за этот подарок. Жизнь в искусстве очень проста, иногда мучительна. Среди редких радостных дней — много дней черной работы, разочарований, рухнувших надежд. Но что остается неизменным и греет душу, как рюмка доброй водки в морозный день, так это непреходящая вера, что то, чем ты занимаешься, — лучшее занятие на Земле. И что неважно, победитель ли ты, важнее, что ты — не проигравший и что у тебя есть верный друг — твое искусство, которое всегда с тобой.

Дед и бабушка со стороны мамы были главными "рассказчиками искусства" в моем детстве. Бывая изредка в их квартире на Маразлиевской, 7, я мог видеть не только немецкие копии с русской живописи, но и знакомился воочию с цветом мировой музыкальной культуры. Стены единственной огромной, по моим тогдашним представлениям, комнаты (особенно в сравнении с нашей, где мы ютились с родителями втроем) были увешаны портретами великих композиторов: прямой, поднутый Шопен, Моцарт с бантом в парике, Шуберт в пенсне, величественный Бах... Довершала музыкальную экспозицию большая картина. Старая, похоже, немецкая супружеская пара: она в чепчике и он, седовласый, в клетчатом пледе, играли в четыре руки на коричневых клавирах.

У стены, на черном пианино фирмы "Bechstein", громоздился бюст Бетховена, еще один Моцарт, но уже без банта, и семь мраморных слоников, мал мала меньше.

По праздничным дням или дням рождения, когда приезжал из другого города мамин брат Мишенька, черноволосый красавец, всеобщий любимец, наша семья собиралась у бабушки. В эти веселые, шумные минуты она любила садиться за пианино и, блестя кольцами, быстро и ловко гоняла своими длинными тонкими пальцами по клавишам, издавая ногтями пластмассовое цоканье. Потом садилась играть мама и лирично исполняла ноктюрн Шопена. Потом садился Миша, который был самоустрой, но тоже совершенно здорово играл с неизвестно откуда взявшимся мастерством. При этом во рту у него, между зубов, была обычно зажата маленькая треугольная пластинка из прозрачного пластика, и он издавал ею совершенно изумительный свист, который я мог бы сравнить только с пением Ивана Козловского или блиставшего в те годы "свистуна" Ней.

Так музыка вошла в мою жизнь почти на равных правах с живописью. И одно время моя бабушка даже взялась меня учить. Но то ли у нее не хватало жесткости ко мне, необходимой при всяком воспитании, то ли я чувствовал, что музыка слишком глубоко проникает в мою молодую душу (однажды во время бабушкиной игры я даже, рыдая, бросился на пол и стал биться от неумения вытерпеть это мучение Шопеном), но наши уроки вскоре прекратились. Была еще попытка определить меня в школу Столярского. Помню классную комнату: я стою у стола лицом к классу, в котором сидят всего несколько взрослых. Мама осталась дожидаться в коридоре. Мне играют мелодию, которую я должен повторить. Я повторяю, как — не знаю, мне трудно сейчас судить об этом. Ясно одно, что у меня был и остался на всю жизнь абсолютный слух (о котором мне позже говорили серьезные музыканты). Тогда же я был отвергнут "компетентным жюри" со словами: он же не поет, а кричит! Как будто я поступал на отделение не фортепиано, а вокала. На дворе был 1952 год. Назревало "дело врачей". "Великий кормчий" был еще жив, и еврейский вопрос в советской стране еще не был решен. Одесское музыкальное общество было и так перегружено

"сионистами" и "космополитами". Ему не нужны были новые кадры, тем более — сторонние, ведь блата у нас не было. Так для страны был потерян хороший, а может, и отличный музыкант. Моей тайной мечтой (несбыточной уже) всегда было стоять перед оркестром и вести этот многозвучный огромный слаженный коллектив куда-то в даль бетховенских или вагнеровских симфоний. Но, увы... Судьба распорядилась иначе. Весь музыкальный багаж нашей семьи канул в Лету. Уделом жизни стала живопись, которой никто и никогда в нашем роду не занимался.

Душистые (по-своему) жирные разноцветные брикетки пластилина лежали в картонной коробке передо мной на классной парте одесской школы № 117. Брикетки велела нам купить наша учительница. Как всех первых, самых первых учительниц, ее звали Мария Ивановна. Пластилин был куплен в большом шумном магазине напротив, через дорогу от школы. Магазин назывался "Два слона". Там в самом деле стояли огромные, как мне теперь кажется, матерчатые серые слоны, которые своими хоботами образовывали арку над проходом из одной части магазина в другую. Поздней на стене этого дома появилась мемориальная доска Бабелю. Но в описываемые мною годы в доме, в его задней, дворовой части, выходящей окнами внутрь квартала, жил человек, который запомнился мне на всю жизнь. Он жил в большой, пустой и почему-то всегда затемненной комнате. В ней почти не было мебели: стол, кровать и громадный сундук составляли все ее убранство. Уже не помню, кто из моих друзей (может быть, это был Аркаша Креймер) впервые привел меня в этот дом. Его хозяина, худого, долгового, еще не старого, лет тридцати, мужичину звали Марк. Он картавил, произнося вместо "р" — "в", хотя в основном он молчал. Встречая меня, он произносил: "А, за мавками пвишел", — и отправлялся к огромному сундуку. Ясно, что если бы не он, то мною было бы съедено намного больше душистых белых булочек и выпито вкусного одесского послевоенного молока в школьном буфете у тети Муси. Нечасто, но время от времени я с упорством маньяка отдавал кровные мамнины 30 — 50 копеек за сокровища, хранившиеся в большом сундуке картавого молодого человека. К восьмому классу у меня сложилась уже приличная коллекция марок. Среди моих друзей-приятелей тоже было несколько таких любителей. Мы часто обменивались марками, конечно, бестолково, как я теперь понимаю. К примеру, мне очень нравилась венгерская серия к Олимпиаде 1956 года в Мельбурне, которая была в собрании моего друга Шурика Мимхо. За нее я отдал короля Румынии Михая, серию марок, выпущенную во время фашистского правления. Конечно, обмен был недостойным, но венгерские марки были такие яркие, красивые, так чудно выглядели в Шуркином альбоме, что мой длинный и тощий Михай не мог с ними конкурировать. Однажды мне попалась маленькая розовая марочка острова Святого Маврикия. Она была невзрачной, и как пришла ко мне, так и ушла, как уходили Макао, Сен-Пьер и Микелон и многое другое. Через много лет я узнал, что, будь я поумнее в мире филателии, то, обладая этой маленькой марочкой, давно был бы богатым человеком.

"Гинекология" — учебник, который лежал в моем любимом книжном шкафу на нижней полке. "На самой нижней", так, что до него я добрался, сообразно моему росту, довольно рано. Учебник остался от маминих занятий в медицинском институте, прерванных моим появлением сперва в виде эмбриона, а затем человека на этом свете. Там внизу лежали еще большие клавиры сонат. Но разглядывать их было совсем неинтересно, хотя мама очень ими гордилась: взяв их в руки, я испытал жестокое разочарование видом ничего для меня не значащих значков. Иное дело был гинекологический курс для будущих медиков. Очень подробные, прекрасные выполненные в технике высокой печати иллюстрации завладели моим интересом. И едва родители уходили из дому, а я оставался на попечении деда и бабушки, то устремлялся к книжному шкафу, к нижней полке.

Как-то я даже похвастался своей находкой моему приятелю Вове Финкельштейну, жившему этажом выше и тоже собиравшему марки. С Вовкой у меня случился нешу-

точный конфликт: я уличил его в краже марок. Возвращаясь от "друга" после бешеного обмена, я недосчитался нескольких штук. Поднявшись опять к нему, я заглянул между делом под диван и ахнул: с десяток моих марок лежало под диваном. Оказывается, юный похититель, сидя на коленях перед диваном, на котором и происходил важный обмен, незаметно от меня их туда спихивал. Этот Вова был хитроватый бездельник, не вылезавший из троек и вечно канючивший, как плохо у него дела с учебой, как мать его за это ругает и не дает денег на марки. Помню, как я, будучи молодым теленком, а точнее сказать, демократом и поборником справедливости, которой, как известно, в мире нет, часто его утешал, дескать, не горюй, я тоже не всегда получаю четверки и пятерки. На самом деле они преобладали в моем дневнике и давались мне без особого труда. Как-то однажды мать, услышав мою глупую тираду в поддержку друга, посоветовала не болтать ерунды и не наговаривать на себя. С тех пор прошел не один десяток лет, но я помню эту беседу и думаю, что не сильно поумнел в своем желании сделать мир счастливее, чем он есть, в силу своего незлобивого нрава.

Возвращаясь к "эротической" книге с нижней полки, я теперь иногда думаю: а не было ли это раннее знакомство с ее содержанием подспудным фрейдистским толчком к моему интересу к искусству живописи, которое так тесно связано с вечной нераскрытой тайной женщины, так или иначе владеющей миром художника. Может быть, так оно и было, но только отчасти. Ибо тайна женщины, хотя и присутствует всегда в моей жизни и составляет до сих пор предмет раздумий и картин, была все-таки не самой главной силой, толкавшей мою руку к бумаге или холсту. Были вещи довольно далекие (на первый взгляд) от женских ног и бедер, но тоже сильно действовавшие на мою восприимчивую душу. Например, белые серебристые облака на нежно-голубом одесском небе, или игра солнечных зайчиков на глади Черного моря, или причудливые лепные украшения на карнизах одесских домов старой дореволюционной постройки.

Собственно говоря, мое рисование началось с танков и самолетов, конечно же, советских краснорубашчатых Т-34 и тупоносых Яков. А причиной всему был мальчик из детского сада, с которым мы сидели за одним столом и который здорово их рисовал. Сорок пять лет спустя я узнал его по неизменившемуся строению черепа на одном из вернисажей в музее русского зарубежного искусства в Джерси-сити. Он стоял с женой, когда я подошел и сказал:

- А я вас знаю!
- И как же его зовут? — спросила жена.
- Феликс, — был мой ответ.
- А фамилия?
- Ройзен.

Все было точно. Феликс Ройзен прошел к тому времени длинный жизненный путь, был боксером, водопроводчиком, слесарем. Эмигрировав в Америку, устроился смотрителем домов. И НИКОГДА с детства больше ничего не рисовал. А я-то... Неисповедимы пути твои, господи!

В моем классе из сорока пяти человек двадцать восемь были евреями. Евреи были и среди учителей. Самым популярным из них был Владимир Ефимович Гольдберг ("Ефим"). Говорили, что в войну он служил в разведке. На лацкане его серого шевитового пиджака всегда была прикрепленна "Красная звезда", очень важный орден для младшего и среднего комсостава. Его предмет, математику, все если не любили, то уважали. А может, просто побаивались "Ефима", который был всегда суров, насмешлив и, казалось, непробиваем на жалость. Он был коренаст, кряжист. Обладая, видимо, большой физической силой, что выдавали его большие руки, всегда испачканные мелом.

Помню, на одном из первых его уроков я был вызван к доске. Воспитанный в весьма демократическом духе в семье я так же доверчиво, как дома, с наивным видом сказал, что я сегодня не готов. Он блеснул на меня зеленоватыми глазами, пригладил по обычаю свои уже сильно поседевшие волосы на большой сократовской голове и, обращаясь к классу, сказал: "Вы посмотрите на этого студента — он сегодня не готов!" И вслед за этим влепил мне в журнал жирную лиловую двойку. Это была вторая двойка в моей жизни. Первую я получил за пару лет до этого еще при "Марии Ивановне", любимой первой учительнице. Как известно, все первые учительницы — Марии Ивановны. Но наша была, по мнению родителей, самая лучшая, как мама или бабушка. Ей было за сорок, но она казалась очень старой. Легкие усики проступали

над ее всегда что-то говорящим ртом. Голос ее забыть невозможно и по прошествии шестидесяти лет, я как будто и сейчас слышу его горловой звук, влажный, слегка осипший от постоянной говорильни с оравой молодых дураков.

Любимым моим предметом всегда была литература. Я очень рано стал читать, любил перечитывать и часто запоминал тексты почти дословно. Так я однажды поразил первую мою "училку" тем, что почти слово в слово пересказал в классном сочинении историю с участием генералиссимуса Суворова из книги Леонтия Раковского, с которым меня свела судьба почти сорок лет спустя в Ленинграде в мастерской замечательного графика, моего друга Рудольфа Яхнина. Надо сказать, что к домашним заданиям я относился легко, без особого страха их не выполнить, опять-таки из-за либерализма, царившего в нашей семье в "домашний" период. Однако первую двойку в жизни я получил на уроке своей любимой учительницы и любимой русской литературы. Уже почти охрипшим, как после холодного пива, голосом Марии Ивановны вызвала меня, чтоб читать наизусть "Уж тает снег, бегут ручьи". Я сидел на четвертой или пятой парте первого от окна ряда. Лучи теплого одесского солнца лежали на парте косою дорожкой, кремово-голубое небо с жемчужными облаками сияло в стеклах больших окон. Голос Марии Ивановны застал меня врасплох. Она долго ожидающе смотрела на меня, видимо, ей не очень хотелось портить отношения, к тому же я был, очевидно, один из семьи надежных ее "кадров". Но дело требует решения. И первая двойка синей птицей влетела в мой дневник. Конечно, мне стало не по себе, но мама дома была не очень строга, и дело замялось быстро, хотя стыд остался на всю жизнь, и потом на многие годы поэзия стала одной из главных форм моего духовного бытия.

М. И. была для нас действительно "домашней" училкой. Однажды лютой (как это возможно в Одессе) зимой рядом со школой раскатали ледовую дорожку. После уроков все с портфелями (ранцев еще не было) с разгоном летели по ней вниз к улице Ленина. Пролетел и я, но кто-то подставил ножку, и я, плюхнувшись прочертил головой лед. Не на шутку разозлившись, я схватил портфель и с размаху огрел, как мне показалось, виновного. Это был Витька Бухман с нашей улицы Розы Люксембург, 19, старше нас на год или два. Тот, недолго думая, вмазал мне в нос кулаком. В глазах потемнело, я залился кровью. Откуда ни возьмись — М. И. Уж не знаю, как она все это проследила, но через минуту я уже сидел в школьном медпункте, с холодным льдом на многострадальном носу. Да, М. И. была "настоящая". До ее последнего дня (ее не стало в конце девятых) она живо интересовалась моими успехами, слала мне приветы в Ленинград и, очевидно, гордилась своим учеником — "академиком". Светлая ей память! Марии Ивановне Коваленко. Когда я защитил в Академии художеств диплом в 1972 году, сюжет показали в программе "Время" по всему Союзу. И она увидела его в далекой от столицы Одессе. Потрясенная и обрадованная М. И. вскоре привезла для меня посылку — вишневым компот, шоколадное масло и пр. Одно время мы коротко обменивались открытками. Потом, как обычно, жизнь взяла свое. А жаль...

В классе пятом у нас стало много учителей. Среди них выделялись три Владимира. Об одном — В.Е. Гольдберге я уже рассказывал. Еще были Владимир Антонович Кулеша (русский язык и литература) и Владимир Ильич Трофимовский (украинский язык и литература). О них стоит упомянуть особо, ибо благодаря им пошла моя вера в слово и в порядочность за пределами моей семьи. Когда В.А. Кулеша появился в классе, мне тотчас вспомнились мои любимые иллюстрации Боклевского к "Ревизору" из собрания сочинений Гоголя 1947 года. В. А. обладал в высшей степени нестандартной внешностью: среди учеников он получил прозвище Пупочка. Надо сказать, оно необычайно точно шло к нему. Если бы вместо темно-синего в белую полоску свободного, но элегантного пиджака со всегда белыми от мела лапанами карманов и широкими брюками, делавшими его похожим то ли на попа-расстригу, то ли на актера провинциального театра, представить его в фартуке и косоворотке, то получил бы типичный трактирный половый. На законодателя нашей классной русской культуры он с виду никак не тянул. Самые подлые из нас, такие, как Вовка Сухарев, у которого брат уже сидел за что-то, сразу почувствовали в нем какую-то слабину и стали педалировать ее. "Сухарев — вы мерзость", — цедил сквозь свои

короткие белесые усы гладко причесанный В. А. и неизменно жестом срывал со своей белой, почти пушкинской руки с такими же почти ногтями (предмета моего постоянного любования, по моей, как оказывается, старой привычке все подмечать) золотые часы с браслетом и скандально бросал их на учительский стол. Мне было жаль его бесконечно. Было обидно, что он так слаб и незащищен перед лицом простого или изощренного хамства, той особой одесской наглости, которая в мое время так красочно цвела в молодежно-подпольной среде. Бедный В. А., он был вынужден приходить в пятый "А" класс и сразу на первой от стола парте видеть Сухарева во всегда расхристанной рубашке, с сиплым голосом и всеми манерами чуждого ему, В. А., мира.

И, наконец, третий Владимир. Писатель, фронтовик, участник партизанского движения в Украине, в районе реки Кодыма. Весь такой приподнятый, торжественный, с сидящей большой шевелюрой на манер великих актеров. Уже стареющий, но так бодро и прямо несущий свою прекрасную голову, Владимир Ильич Трофимовский завершал выдающуюся триаду наших лучших учителей. Он был очень спокойный, уравновешенный человек. Даже Сухарев на его уроках почему-то мне не запомнился. Я был его любимцем (что странно для еврея-ученика и украинского националиста-учителя, каким, по-моему, был Ильич). При разных комиссиях он вызывал меня, зная, что не покраснеет за свою работу.

"Ой, вбито, вбито, затягнуто в жито, Червоною китайкою личенько прикрито..."

Неопределенно-личное предложение было моим коронным номером.

Владимир Ильич звал меня к себе домой, в свою скромную квартиру где-то в районе бульвара. Мы ели вареники с творогом, заботливо приготовленные его женой. Уже учась в Академии, я, приезжая в Одессу, навещал его. Мы сидели на бульваре, а он говорил о войне, о Кодыме, о литературе. Его речь была торжественна, но не напыщенна. Несмотря на мой привычный скептицизм, я верил ему и любил его головой мыслителя. Мне было жаль, что он стареет — руки и ногти его были уже подернуты желтизной времени. Но рядом с ним я чувствовал себя лучше и значительнее. Он умел поднимать до своего уровня. Он был Учитель.

Можно здесь рассказать о слепом историке Исааке Израилевиче Заке. Он обладал великолепным слухом и мог назвать фамилию того, кто шалит или шепчется. Я был у него всегда "Герррриц", с гортанным "р". Говорили, что он любил плавать в море и якобы утонул. Историю он знал чисто по учебнику. Наверное, его учительство было его очередным рубежом, который он брал с боем. Сила в нем чувствовалась недюжинная.

Они все были красивые люди, наши полсвоенные учителя-мужчины. Женщины как-то не особо производили впечатление. За исключением географички Эммы Осиповны. С гладко зачесанными светлыми волосами у нее был суровый, строгий вид. И вся она была, как бейсбольная бита: ладно и крепко скроена. С ее не слишком красивыми, но сильными белыми ногами связаны мои первые эротические мечтания. Будь в ней меньше от СС-фрау, быть может, я бы влюбился. Говорили, что она слаба к историку Исааку Израилевичу. Кто знает.

Я всегда любил (благодаря моим марочным делам) географию. Но из-за Эммы стал ненавидеть климат. Когда она говорила что-то про "азовский максимум" и тыкала своей короткой указкой в бумажную надорванную на сгибах карту, мне очень хотелось крикнуть что-нибудь дерзкое в ее опрятно-неприятное лицо. Вот было бы интересно посмотреть, как она выходит из себя, наверняка не так элегантно-прекрасно, как Владимир Антонович! А уж представить себе, что она, сверкая своими упругими икрами, вылетает из класса, было просто невозможно. Она всегда двигалась как-то слишком медленно, по-мужски. И плечи у нее были шире таза, а я тогда уже понимал, что это для женщины — большой недостаток. Среди прочих женщин-учителей я бы хотел упомянуть Дору Григорьевну, "немку". На самом деле — рыжеватую, веснушчатую, совсем подтянутую еврейку. Учить немецкий, похожий на мой родной идиш, диалект немецкого, который звучал в нашей семье едва ли не больше, чем русский, было очень легко. И в дальнейшей жизни в Германии он мне очень пригодился.

Теперь, разобравшись с учителями, пора бы перейти к моим товарищам-учени-

кам. Были среди них особо близкие. Иных уж нет. Нет Илюшки Штилькин — прирожденного математика, "светлая голова" которого блистала на уроках "Ефима". Тот был хотя и рад своему лучшему ученику, но в другой раз его позорил: "Ты не Штилькин, ты — Шум-кин и Гром-кин", — говаривал он, не боясь последствий. Не посмел бы он так сказать, например, Володе Коляде, сыну главного редактора одесской областной газеты Ивана Коляды. Володя был одним из моих близких приятелей, марочным партнером. Жил он совсем рядом, через дорогу, на Пушкинской улице, в доме — бывшей гостинице Сикара. Его очень важный газетный папа получил, как потом выяснилось, квартиру, где жил Пушкин в свой одесский период. На дверях своих апартаментов редактор облгазеты прибил табличку: "Здесь жил Пушкин, а теперь живу я, Коляда. Вот это да!"

Бывая у моего товарища, я поражаюсь пустоте и незагруженности мебели больших и просторных комнат, коих было штук пять. Мама у Володи была армянка, очень, как мне казалось, красивая, так же хороша была его тетя, мамина сестра с историческим именем Эра. Был у него братик Витя, не такой показательный отличник, как брат, со всегда шикарным, до блеска выглаженным галстуком. "Ефиму" было, я чувствовал, приятно выслушаться перед знатным и влиятельным учеником, когда он говорил ему на волжский манер "мОлОдец ВОлОдя". А тот действительно был отличником и шел всегда чуть-чуть впереди меня и Розы Векслер. Пока не появилась в нашем классе приехавшая из Киева — тоже с очень влиятельным папой — Жанна Шевеленко, которая быстро вышла в лидеры.

Появление Жанны внесло в мою спокойную жизнь, в основном беззаботную (ибо учение давалось мне без особого труда в обеих школах), несколько новых беспокойных ощущений. Судьба была угодна, чтоб она сидела за партией передо мной наискосок, так, что я всегда видел лишь розовое ушко да золотистый непослушный локон, который то и дело выбивался из аккуратной прически. Ее маленький мизинчик, слегка оттопыренный, когда она поправляла волосы, до сих пор стоит перед моим взором. Я не то чтобы был влюблен в Жанну, просто она была в моем представлении персоной, наконец, достойной моего особого расположения и внимания. Мы с ней, по моему ощущению, были одного поля ягоды. Это было ново в моей жизни.

Ни "мальчишка" — веселая Наташа Коренева, которую я знал еще с детского сада и которая, как только соединили мужскую и женскую школы, оказавшись в нашем втором "А", тут же, как вошла, бросилась ко мне за парту, и просидела с ней весь второй класс, да так и остались друзьями навсегда. Ни Роза Векслер, очень способная и полная спокойного достоинства толстуха со вполне и рано образовавшимися женскими признаками, которые в моем представлении делали ее старше на много лет, а потому не могущей являться объектом моей страсти. Надо сказать, что идеал красоты для меня в то время визуально определялся портретом Бакуниной, лицейской пассии Пушкина, который я увидел в те годы в новом собрании сочинений А.С. П. А если не говорить о внешнем образе моего идеала, то это, пожалуй, княжна Мэри. Нравилась мне еще одна из сестер Булавиных из фильма тех лет "Хождение по мукам". Это Даша, которую играла малоизвестная артистка Веселовская, а вовсе не замечательная выдающаяся Катя — Руфина Нифонтова. Но что я тогда мыслил в искусстве, да и в жизни вообще?

Лишь дивный запах каких-то духов (может быть, "Красной Москвы") остался в моем детском восприятии рядом с образом чудной Даши на просмотре одного из первых широкоформатных фильмов в перестроенном одесском кинотеатре Фрунзе. Так они и идут со мной по жизни — образ щемящей женственности и прекрасного запаха "ихних" духов. Нет, с Жанной ничего этого не было. Но если бы мне тогда пришло в голову то, что потом сформулировалось с годами четко и ясно — на таких, как она, женятся! Тогда же интуитивно я знал, что это "хорошо" и что это то, что надо. Но после восьми классов моя жизнь совершила крутой поворот, и дорога искусства увела меня в другие края. А Жанна пошла своей дорогой. Наши пути пересеклись спустя годы в обожженном чернойбильской радиацией Киеве. Но как же поздно это было!

(Продолжение следует.)